

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ И РУССКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ТРАДИЦИЯ*

М.Н. Громов

Творчество любого мыслителя можно рассматривать в нескольких измерениях и в рамках разных систем. Прежде всего оно предстает как отражение уникальной личности, мира в себе, своеобразной монады, существующей независимо от места, времени, пола, национальности, социального положения. Вместе с тем личность мыслителя позволительно характеризовать как порождение определенной локальной среды, семьи, социального слоя, корпорации, как неизбежное отражение духа времени, реально сложившейся исторической ситуации. В ней можно также усмотреть при всех увлечениях и пристрастиях стремление следовать некоей глубинной, почвенной, автохтонной линии развития мысли как выражения национального духа, при котором она предстает принявшей эстафету от своих предшественников к своим последователям. Расширяя круг, мы неизбежно придем к оценке творчества мыслителя в рамках европейской и даже общечеловеческой цивилизации, станем рассматривать его как часть мирового интеллектуального универсума, бесконечного духовного пространства, в котором беседуют Будда и Конфуций, Христос и Моисей, Сократ и Аристотель, Кант и Гегель, Соловьев и Достоевский. В первом случае личность избранного нами философа предстанет как *микрокосм*, во втором – как продукт *социума*, в третьем – как отражение *традиции*, в четвертом – как частица *макрокосма*.

Все означенные подходы равноправны, они пересекаются, дополняют друг друга и позволяют объемнее воспринять фигуру мыслителя. В нашем случае, как видно из названия статьи, избрана третья позиция, сочетаемая с остальными, ибо Николай Бердяев – это и неповторимая гениальная личность, и характернейшее порождение ныне не существующей среды и былых обстоятельств, и глубоко русский по своему складу, темпераменту, стилю мышления человек, и носитель христианского универсализма, яркий представитель высокой европейской культуры, – культуры, не замыкающейся в себе, открытой к иным смыслам, ценностям, цивилизациям. Он верно выразил одну из основных интенций нынешнего и грядущего столетий: “Культура перестает быть европейской, она становится всемирной”.

При чтении работ Бердяева бросается в глаза его вдохновенный, пророческий склад мышления, столь характерный для отечественного способа философствования от Илариона Киевского до Льва Толстого. Гений проступает в чеканном стиле, посредственность изъясняется бесцветным языком. Вспомним, как совсем недавно мы

* Подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект 02-03-18077а.

упивались слогом текстов запрещенных философов, в том числе авторов “Вех”, среди которых был и Бердяев. Какой контраст по сравнению с суконным жестко регламентированным, обезличенным языком тогдашней официальной квазифилософии!

Эта особенность русской философской традиции, присущая лучшим ее представителям (вовсе не исключая иных манер владения речью вплоть до тех, которые делают ее весьма темной и косноязычной), связана с благотворным влиянием греческого, византийского синтеза слова и мысли, любви к Логосу и Софии, союза филологии и философии. Наиболее почитаемые и читаемые Иоанн Златоуст, Василий Великий, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин и другие представители греческой патристики приобщали к искусству владения словом и мыслью в их неразрывном единстве. Благотворно и воздействие кирилло-мефодиевской школы, сформировавшей на основе высоких византийских образцов письменную, литературную, богословскую и философскую традиции в регионе *Slavia orthodoxa*.

Вместе с тем, восхищаясь языком творений Бердяева, следует заметить, что его индивидуальный стиль иногда чрезмерно эмоционален, экстатичен, что субъективно заостряет, даже деформирует мысль. Творческая работа его сознания выплескивала слова на писавшиеся зачастую без абзацев и иных визуальных ограничений страницы, отражая скорее поток непрерывно пульсирующей мысли, нежели обстоятельную работу интеллекта. Он сам признавался, что пишет “единым порывом, почти в состоянии экстаза”, что его мышление “интуитивно и афористично”, в нем отсутствует “дискурсивное развитие мысли” Неспособность остановиться и объективно оценить ход своих размышлений приводит нередко к крайним оценкам. В качестве примера можно привести пассаж из “Русской идеи”, где говорится о полемике преподобных Нила Сорского и Иосифа Волоцкого, причем последний в резких словах изображается “сторонником христианства жестокого, почти садического, властолюбивого, врага всякой свободы”. Передержки столь же очевидны, сколь и симптоматичны.

Стремление заострить свою мысль, довести ее до предела, сделать шокирующим тезисом невольно порождает обратное стремление уравновесить ее антитезисом, столь же парадоксальным. В гибкой манере использования отчасти античного диалога, отчасти немецкой диалектики построен ряд произведений Бердяева, стремившегося упорядочить необузданную стихию своего мышления. Удачно в этом отношении его эссе “Душа России”, где антиномичность национального бытия рассмотрена в связи с антиномичностью национального самосознания, где крайнему тезису “Россия – самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире” противопоставлен не менее тенденциозный: “Россия – самая государственная и самая бюрократическая страна в мире” Сопряжение противополож-

ностей выделяется и в духовной жизни: “Ангельская святость и зверская низость – вот вечные колебания русского народа, неведомые более средним западным народам”

В борьбе подобных начал видит Бердяев динамику отечественной истории, и он прав. Но как за общим утверждением нарисовать неискаженную панораму подлинного исторического развития, вскрыть механизм действия социальных институтов, показать борьбу разнообразных течений мысли и выразить ход непредсказуемой культурной эволюции? Он пытается это сделать эскизно, но мазки его экспрессивной кисти неровны: они то попадают в цель – и мы видим пронизательные прозрения, то выражают скорее внутренний мир художника, чем изображаемое им, – и мы видим яркую самохарактеристику. Впрочем это общее свойство креативной манеры гениев, в какой бы области они ни творили, будь то живопись, музыка, текст. Поэтому сочинения Бердяева представляют помимо прочего яркий творческий автопортрет, и тем они еще более интересны.

Помимо эллинского, переданного через византийское посредничество, влияния на русскую мысль, сильное воздействие на нее оказала ближневосточная культура в ее ветхо- и новозаветной интерпретациях. Бердяев прекрасно вписывается в эту давнюю отечественную традицию. Его не случайно называли пророком и апостолом. Он запомнился современникам как “пророк России” и “апостол свободы”. В его творчестве явственно проступает библейский пафос творения, дар экстатического прозрения мыслителя, сочетающийся с беспощадным обличением греха и непримиримым отвращением к мерзостям мира сего – к безбожной власти и бездуховной цивилизации. Бердяев, подобно Вл. Соловьеву, был несомненно философом пророческого типа. Свободное обличение свободной мыслью, исходящее от свободного пророка, – такова максима его философской воли.

Часто говорят о публицистичности Бердяева в смысле не поверхностности и преходящем характере его творчества, а открытости широкому читателю, убедительности и ясности его стиля. Он остается едва ли не самым переводимым и читаемым в мире русским философом. В нем отечественная мысль обрела одного из великих продолжателей давней просветительской, наставнической традиции. Бердяев предстает не как затворившийся в келье схоласт, не как утонувший в море книг кабинетный ученый, но как исповедник и мученик своих идей, чувствующий пульс жизни, поступь истории, понимающий чаяния братьев своих и в сильнейшей степени их выражающий. Это, впрочем, не мешало ему иметь прекрасную библиотеку, наслаждаясь в ней уединенным чтением книг, духовно общаться с великими предшественниками и пребывать, когда это требовалось, в сосредоточенном молчании, не мешало и активно участвовать в научной и культурной жизни тех стран, где ему приходилось

бывать. Не будучи трибуном на площадях, он обращался к современникам в остроумных беседах, концептуальных докладах, как и в многочисленных статьях и главное – в книгах, имевших исповедальный характер, независимо от сюжетов и проблем в них затрагиваемых.

Следует отметить, что помимо следования традициям отечественного философствования в сочинениях Бердяева явственно проступает мощный пафос западного духа, латинской культуры. Его вдохновляла средневековая немецкая мистика, в концепции Якоба Бёме об *Ungrund* он искал онтологическое обоснование для своего понимания свободы, сетовал на отсутствие рыцарства на Руси и считал свою Родину слишком мягкой, женственной, пассивной, требующей мужского, волевого дополнения, к коему и призывал ради ее преобразования. Следует также заметить, что увлечение Западом – одна из типичных черт отечественной культуры, в особенности философской мысли, рвущейся за пределы привычного круга идей и явлений.

Тяга к иноземному (в сочетании с противоположной тенденцией неприятия инородного как инстинктивной защиты своего родного) отражает стремление преодолеть культурное и геополитическое периферийное положение России, которая при всей своей огромности есть, по словам Бердяева, “уединенная провинция”. Местоположение в стороне от центров западной и восточной цивилизаций издавна побуждало у россиян интерес к ним. Менялись точки притяжения, но желание преодолеть локальную ограниченность оставалось неизменным. Вначале доминировал южный вектор общения с восточно-средиземноморской ойкуменой – Византией, Святой землей, Балканами. После османского нашествия и падения Константинополя этот вектор ослабевает и начинает возрастать влияние вектора западного, достигшее апогея после петровских реформ. В XX в. и Европа, и Россия все чаще обращают взоры на Восток, здесь – усиливаются евразийские настроения. Бердяев пророчески предвосхищает особую историческую миссию своей Родины, ставшей “узлом всемирной истории”, в преодолении европоцентризма и в создании планетарной макроцивилизации: “И Россия, занимающая место посредника между Востоком и Западом, являющаяся Востоко–Западом, призвана сыграть всемирную роль в приведении человечества к единству”

У Бердяева, как и у многих отечественных мыслителей начиная с летописца Нестора, проступает глубокая *историософичность* мышления. Традиционный интерес к проблемам исторического, геополитического, цивилизационного развития в русской философии не случаен. Он определяется действием многих факторов, одним из которых является незавершенность, неоформленность в освоении огромного пространства, называемого Россией и располагаемого на евразийском разломе, пространства, постоянно находив-

шегося под воздействием сильнейших внешних заинтересованных сил. От летописного зафиксированного эпизода выбора веры при князе Владимире до современных попыток выработки устойчивой геополитической позиции между Европой, Азией и Америкой продолжается постоянный политический поиск, сопровождающийся напряженной работой мысли (в том числе философской) о судьбах России в меняющемся мире.

Подобная напряженность особенно возрастает в переломные, катастрофические, решающие по своей значимости эпохи. Бердяев пытался понять скрытый глубинный смысл войн и революций, указать на те грандиозные тектонические сдвиги, к которым они могут привести. Он мог ошибаться по поводу конкретного хода первой мировой войны, о чем свидетельствует сборник статей “Судьба России”, вышедший в 1918 г., но основные тенденции европейского и мирового развития – не в их внешней, событийной последовательности, а в их внутренней, причинной связи – он своим пророческим чутьем ощущал верно. Бердяев предсказал и “новое средневековье”, и появление тоталитарных режимов, и наступление технократии, и даже рост фундаменталистских настроений и погружение в длительный период межэтнических, межконфессиональных конфликтов. Не оставаясь безучастным к развитию событий, он выступал против отчуждения, дегуманизации, подавления человека, всегда оставаясь рыцарем свободы, иногда одиноким и, быть может, несколько странным в наше расчетливое и циничное время, своего рода философским Дон Кихотом.

Историософичность Бердяева тесно связана с *эсхатологичностью* и *мессианизмом*, что характеризует русскую мысль в целом. Эсхатология проистекает из христианского учения о конце света и Страшном суде, которые интерпретируются Бердяевым как конец земной истории и начало истории вечной. Мессианство имеет ветхозаветное происхождение, оно порождено религиозным сознанием древнего еврейского народа, имеет вселенскую направленность и различные интерпретации. Бердяев рассматривает еврейское мессианство богоизбранного народа, германское – высшей расы, страдательное – польское и русское “по преимуществу апокалиптическое”. Отечественное мессианство не существует в чистом виде, но смешано с национализмом и великодержавностью. Христианское смирение противостоит имперской гордыне, горний мир Святой Руси – земному царству кесаря. В качестве такового выступали державы царей московского периода, императоров – петербургского, партийных вождей – советского. Сквозь века пронесена скрепляющая российскую государственность доктрина “Москва–Третий Рим”, имевшая мессианское содержание, но служившая политическим целям. Бердяев, пожалуй, преувеличивает “империалистический соблазн” данной доктрины, ибо она служила не столько утверждением гегемонизма России, сколько средством упрочения ее позиции в евро-

пейском мире, где концепция Roma aeterna стала общезначимой и прочно вписалась в политическое и правовое западное самосознание.

Что же касается III Интернационала, оказавшегося, по мнению Бердяева, новейшей разновидностью классической имперской идеи, то в нем мыслителем верно уловлена тенденция эволюции российского большевизма от открытого интернационализма дореволюционного периода до закрытого тоталитаризма периода советского. Вместе с о. Сергием Булгаковым и другими проницательными критиками марксизма Бердяев отмечает религиозную подоснову III Интернационала, указывает на мессианские чаяния, квазинаучную терминологию, фанатизм неопитского плана, стремление утвердить себя в мировом масштабе в качестве новой веры, нетерпимой к другим и потому неистово их преследующей. Атеизм же, по его мнению, предстал разновидностью богоборческого сатанизма.

Интересны мысли Бердяева о связи ландшафта природного и мыслительного в отечественном самосознании: “Есть соответствие между необъятностью, безграничностью, бесконечностью русской земли и русской души, между географией физической и географией душевной”. Необъятность слабо освоенного пространства не только порождает чувство приволья, но и лишает дисциплины формы. Бердяев вполне справедливо говорит о доминировании экстенсивных способов развития в ущерб интенсивным. Эта привычка связана с максимализмом, желанием построить нечто новое либо на другом месте, либо путем разрушения, а не улучшения старого. Так уходили в степь казаки, в Сибирь – переселенцы, а на Балтике Петр I основал нечто невиданное в отечественной истории: по-немецки названную и по-немецки построенную новую столицу, протестантски противопоставившую себя старой православной Москве и католическому Риму как хранителю престола святого апостола Петра.

Бердяев немало говорит о темной, нутряной, “языческой дионисической стихии” русского народа, которую веками пыталось усмирить христианство; но стихия эта прорывалась в бунтах, восстаниях и наконец разразилось в нашем столетии разрушительными революциями, которые смели старую Россию с ее привычным укладом жизни и традиционными ценностями. Подняла же темные силы народа радикально настроенная часть просвещенной интеллигенции, вместо света знания давшая массам факел всеобщего пожара, гражданской войны и классовой ненависти. Языческие славянские силы смели и церковь, построенную по греческому образцу, и бюрократию, созданную по образцу германскому. Когда же народная стихия вошла обратно в берега, обнаружилось новые правители страны, новые лозунги, новая идеология и новый порядок вещей, который оказался тяжелее царского. Бердяев предчувствовал недолговечность коммунизма на Русской земле и надеялся на другую, новую, постсоветскую Россию, в которой мы живем сейчас и, мучительно

расплачиваясь за прошлое, испытывая нынешние лишения, движемся к неясному будущему. Его пророческие видения помогают лучше осмыслить наш путь.

Любовь к родной природе, истории, культуре у Бердяева сочетается с враждебным отношением к “гипертрофии государства”, “тоталитарному режиму” власти, подавляющей все живое, вольное, самобытное. Он понимал, что без сильной государственности России не выжить, не удержать огромные пространства, не преодолеть эгоизм социальных слоев и регионов. Но сердце “апостола свободы” возмущалось несвободой. В извечной российской дилемме “власть – человек” он без сомнений занимает позицию защиты личности и оправдания ее суверенитета, но не в правовом, гражданском, рациональном отношении, как бы это сделал типичный западный философ, а в нравственном, религиозном, иррациональном, как это делали в большинстве своем русские мыслители. Отстаивая самоценность индивида, неповторимость человеческой души, безусловное право личности на свободу, которая предстает важнейшей категорией бытия, неподвластной даже Создателю и онтологически присутствовавшей еще в дотварный период, Бердяев предстает ярким представителем христианского персонализма, поборником антропологии. В его апологии свободы можно усмотреть еретический и, если угодно, богоборческий соблазн. Но это был бунт не против Бога, а против несвободы во всех ее проявлениях, и аргумент в борьбе был избран самый сильный из тех, что может выбрать философ, – онтологический.

В России в условиях тотальной несвободы существовало социальное напряжение, породившее предэкзистенциализм в лице Достоевского и Шестова. Бердяев, сказавший о себе: “Я – дитя Достоевского”, примыкает к этой линии развития отечественной мысли. Контраст всеподавляющего государства и жертвенно подвластного ему человека не мог не вызывать экзистенциальных настроений, но вместе с тем Отечество нуждалось в преданно служащих ему гражданах, в сильном служилом сословии. Драма Бердяева состояла в том, что, будучи дворянином, потомственным военным, по долгу призванным к государевой службе, он отринул семейную традицию. Бердяев бросает учебу в кадетском корпусе, ввязывается в революционную деятельность, его исключают из университета и он становится типичным антигосударственным элементом, из числа которых вербовались будущие разрушители Российской империи. Быть может, здесь сказалась бунтующая горячая казацкая кровь предков по отцовской линии или рыцарское достоинство не терпящей деспотизма французской крови, доставшейся от прабабушки по материнской линии графини де Шуазель. Во всяком случае, генетический код представителей анархизма, бунтарства, революционности, к которым в определенной степени принадлежал Бердяев, не должен быть исключен из рассмотрения как предполагающий фактор.

Выступая против российской и любой иной тирании, Бердяев видел спасение человека не в отстаивании своего эгоистического индивидуализма, но в защите права на достойное существование, на созидательное творчество, реализуемое в духовном прорыве к истине и соборном соединении свободных людей. Вместе с апологией свободы человек одержим *апологией творчества*. Созидая новое, до него не существовавшее, он становится сопричастным Творцу. Творение мира продолжается. Особенно значимо творческое начало в деятельности наиболее одаренных людей. Не случайно в “Смысле творчества”, одном из наиболее откровенных и программных ранних сочинений мыслителя, утверждается: “Культ святости должен быть дополнен культом гениальности” Эта максима, невозможная для благочестивого сознания верующего человека, давно стала реальностью в секуляризованном сообществе, играя иногда роль подлинного идола для поклонения.

В связи с пониманием свободы Бердяевым хотелось бы затронуть проблему своеобразия ее русской интерпретации, выработанной многовековым историческим опытом, поскольку существует много профанаций и заблуждений по ее поводу. Бесспорно русский человек ненавидит азиатский деспотизм – Орда этому научила. Но было бы слишком наивно и примитивно, в стиле упрощающего реальность дуалистического, дихотомического мышления, думать, что Запад есть олицетворение и средоточие свободы, что только от него идет свобода, а несвобода – исключительно порождение Востока. Тевтонский орден во времена ордынского нашествия был не менее страшным врагом, беспощадно подавляющим всякое сопротивление и уничтожающим непокорных, как были уничтожены или ассимилированы ранее пруссы, посмеявшие сопротивляться немецкой колонизации. Эйзенштейн и Прокофьев в фильме “Александр Невский” создали впечатляющий образ германской военной машины, бронированной свиньей надвигающейся на Русь. Бердяев и многие его современники не только в России, но и в Европе говорили о “новом тевтонском нашествии” и германском милитаризме, угрожавшем западным и восточным соседям империи Вильгельма II. В целом Европа гораздо чаще и опаснее угрожала России массированным целенаправленным вторжением, чем Азия.

Когда говорят о традиционной русской несвободе, нередко забывают о ее первопричинах. Кто создал абсолютистскую всеподавляющую монархию? Наш крупнейший “вестернизатор” Петр Великий. Кто наводил на Руси педантичный порядок по образцу прусской казармы? Поклонники таковой в лице Петра III, Павла I и особенно Николая I, одевшего всех в мундиры и устроившего, по словам Бердяева, “жуткий режим прусского юнкера” Откуда пришел марксизм, ставший идеологической основой советского тоталитаризма, а также восточных моделей Мао и Полпота? Где родились нацизм, фашизм и построенные с размахом фабрики смерти? Ответ очеви-

ден. Не следует забывать, что в благословенной Европе соседствуют рядом расположенные Веймар и Бухенвальд, Краков и Освенцим. Из Европы шли к нам свет знания, плоды просвещения, передовые технологии, великая музыка, литература, философия. Но было и другое, о чем не следует забывать, оценивать же все следует в совокупности и объективно.

Русский человек внешне кажется пассивным конформистом, внутри же он – бунтарь, который не хочет подчиняться ни восточной тирании, ни западной регламентации, одинаково лишаящих его свободы. Социальная пассивность – это форма инстинктивного самосохранения, неприятия, отторжения внешнего чужого и сбережения внутреннего своего, особенно в области духовной жизни. Бердяев был в сильнейшей степени выразителем именно этой стороны русского духа. “Всю мою жизнь я был бунтарем”, – ясно заявил философ, который бунтовал подобно еретiku против официальной церкви, подобно крестьянину – против барского произвола, подобно недоучившемуся студенту – против казенной системы образования, умерщвлявшей живую творческую душу. Иногда он кажется похожим на неистового протопопа Аввакума, но воспитанного на европейский манер в стиле немецкой мистики и романтизма, потому внешне он порой видится русским по духу, но одетым в западные латы рыцарем, борющимся против вселенского зла и несвободы в эпоху нового средневековья.

Однако бунтарь свободен от всего, кроме своих страстей, он – их пленник и раб. Поэтому М. Спинка справедливо переименовал Бердяева из “фанатика свободы” в “пленника свободы” Бердяеву чуждо уважение к преданию, к традиции, он всегда иррационально субъективен, не знает границ и рамок, постоянно в творческом забвении, творческом исступлении, творческом самовыражении, что для него в конечном счете есть высший критерий и смысл существования. В этом плане Николай Бердяев резко отличается от о. Сергия Булгакова и о. Павла Флоренского, развивавших православную традицию и с почтением к ней относившихся. Но полемика тоже есть разновидность связи, хотя и с отрицательным знаком, связи, возможно, даже более глубокой и болезненной, чем спокойное отношение к традиции.

Есть в судьбе Бердяева еще одна особенность, печальная по своей сути, которая роднит его со многими русскими гениальными людьми, – *одиночество*. Многие наши мыслители блистали умом и талантом, но не было у них учеников, не было школы, не было систематизации знания, не было того, чем издавна отличался Запад с его последовательным накоплением материальных и духовных ценностей, в отличие от нашего расточительного к ним отношения. Бердяев подобен Чаадаеву, Достоевскому, Розанову – этим ярким вспышкам великого ума, за которыми нет учеников, последователей, направлений. Но может, это не так уж и плохо? Представим

себе учеников Достоевского, перенимающих его трагический экзистенциальный опыт. Они оказались бы столь же забавны, сколь забавны были босоногие, обрюзгшие интеллигенты-толстовцы, своеобразные литературно-философские сектанты. “Опыт философии одиночества и общения” стал подзаголовком к труду Бердяева. “Я и мир объектов” (1934), а его пафос антроподицеи вел к антропоцентризму, оправданному в условиях противостояния внешнему давлению тоталитарных систем и идей, но дисгармоничному божественному мироустройению.

Хотя Бердяев мог писать и по-французски, и по-немецки, мыслил он по-русски, а русский язык – особая стихия мышления, менее упорядоченная, чем западные языки. Наша родная речь позволяет сказать “кантианство”, “вольфианство”, “марксизм”, но попробуйте проделать ту же процедуру применительно к Соловьеву, Бердяеву, Карсавину, даже Эрну. Можно возразить: а как же Ленин и ленинизм? Но дело в том, что подлинная фамилия вождя – Ульянов, и указанное словообразование к ней не применимо. И дело не в русскости фамилии, а в пластике русского языка, ибо с фамилией Джугашвили мы получим тот же результат. Партийные вожди избирали интуитивно или сознательно такие псевдонимы, которые позволяли навязывать свое вымышленное звучное имя массовому сознанию. За лингвистическим, вербальным подчинением следовало социальное и политическое. Присутствовал и элемент самозванства, хорошо известный из отечественной истории. Что касается обозначения отдельного явления, феномена, течения в социальной, интеллектуальной, религиозной жизни, то в русском языке есть универсальный суффикс, подходящий под все имена и фамилии. Он восходит к родовому, архаическому сознанию, служит емкой, но не дифференцированной характеристикой, своего рода клеймом. Всем известны термины “достоевщина”, “гоголевщина”, “капитоновщина”. Можно при желании произнести “соловьевщина”, “бердяевщина”, “ульяновщина”, но внести желаемый нюанс в данные выражения будет затруднительно.

В заключение хотелось бы задать вопрос: почему сейчас о Бердяеве сравнительно мало пишут, говорят, мало издают его тексты и книги о нем? Возможно потому, что он не был выразителем только западнической или только почвеннической традиции, оставив язвительные высказывания в адрес обеих. На них ведь принято опираться сейчас в нашем расколотом обществе, упоминая к месту и не к месту имена то Чаадаева и Соловьева, то Хомякова и Ильина. Не угождая политизированным партийным пристрастиям, хотя порой и увлекаясь ими, стоя над схваткой, поддерживая “очистительный огонь философии”, Бердяев дал живой пример соединения национального и европейского, сочетания любви к Отечеству и признания общечеловеческих ценностей. Родившийся в Киеве, живший в Вологде, Москве, Петербурге, Берлине, умерший в Кламаре под Парижем, он

принадлежит всей европейской цивилизации. Поэтому мы чтим его как великого отечественного и великого европейского философа ушедшего XX столетия, философа, чьи идеи и образы, труды, навсегда вошли в сокровищницу мировой мысли, но все же более всего они дороги русскому уму и сердцу.

Н. БЕРДЯЕВ И СОФИОЛОГИЯ*

В.В. Сербиненко

Николая Бердяева нередко и, надо признать, в целом справедливо упрекали в субъективизме его историко-философских изысканий, в игнорировании культурно-исторической дистанции и интерпретации рассматриваемых идей в духе собственных интуиций и умозрений. И все же созданные им многочисленные портреты мыслителей прошлого представляют несомненный интерес: в них есть точность в понимании многих существенных моментов духовной позиции, ее внутреннего динамизма. К тому же это всегда живые личности и идеи, с которыми Бердяев ведет свой нескончаемый спор-диалог, кочующий из одной его книги в другую. Однако постоянно и с удивительной интенсивностью переживая творческий подъем, мыслитель легко и свободно переходит к самовыражению: диалог сменяется монологом. В портретах слишком явно проступают черты их автора.

Обращаясь к софиологической теме в бердяевском творчестве, я бы хотел сразу же уточнить, что меня в данном случае интересует именно *сам* Бердяев, его отношение к софиологии. Своеобразный творческий субъективизм Бердяева не только не мешает, но, напротив, может помочь понять суть его собственной позиции. Кроме того, надо учитывать еще одну особенность творческой манеры философа: свои ключевые идеи он формулировал постоянно, их можно обнаружить (приложив, конечно, необходимые усилия) едва ли не в каждом бердяевском тексте. Софиологическая же тема никогда не была второстепенной в философской эссеистике Бердяева, и, обратившись к ней, мы можем рассчитывать на прояснение важных особенностей его мирозерцания.

В 1929 г. была опубликована рецензия Н. Бердяева на книгу о. Сергия Булгакова «Лествица Иаковля»¹. Рецензия имела заглавие: «О софиологии». Строго говоря, это была не столько рецензия,

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, исследовательский грант «Метафизика в России», проект 01-03-00019а.

¹ См.: *Бердяев Н.А. О софиологии: Рец. на кн.: о. С. Булгаков. Лествица Иаковля // Путь. 1929. № 16.*